

«ВНИЗ ГОЛОВОЙ»

Клаус Манн ничего не сочинял в пику «Волшебной горе»

Алексей Зверев

Книжки

БЫВАЮТ писательские автобиографии, которые интереснее всего остального, что создал писатель, даже крупный. Клаус Манн известен своим романом «Мефистофель» (1936), рассказавшим об ужасающих последствиях сделки художника с фашистским режимом. А роман большей частью знают по киноверсии Иштвана Сабо, которая в 80-е годы обошла экраны мира. Каким-то непостижимым образом она — урезанная, правда — попала даже на тогдашний наш блеклый экран.

Кроме того, известен Клаус тем, что он сын Томаса Манна. Литературе почти неведомы великие потомки. Лев Львович Толстой, сочиняющий повесть наперекор «Крейцеровой сонате», — фигура забавная, но типичная. Клаус Манн вечно мучился напоминаниями о том, что в литературе он как бы изначально и навек только сын своего отца.

Об отце он отзывался с нежностью и пиететом, хотя оттенком горечи проскальзывает: трудно всегда оставаться в тени.

Он не знал, что из тени все-таки выйдет. Это случилось с появлением немецкого варианта его книги «На повороте», сначала написанной по-английски, а у нас переведенной лишь теперь (издательство «Радуга»). Книга вышла в 1953 году. А Клаус Манн покончил с собой в мае 1949-го.

Ему было всего сорок три года.

Как-то в это не верится, слишком много событий вместила его недолгая искалеченная жизнь. Слишком много в ней отблесков сумасшедшей истории нашего века, которую младший Манн не наблюдал со стороны, а переживал как участник. И с полным напряжением сил противодействовал ей, словно не очень умелый пловец, который очутился в штормящем море.

Летом 1941 года, добиваясь призыва в американскую армию — непростое дело для эмигранта-немца, пусть формально чешского подданного, — Клаус Манн набрасывает первые главы авто-

биографии и задумывается: что в этой книге должно присутствовать обязательно? «Каждая человеческая жизнь единственна в своем роде», но ведь в ней варьируется драма поколения, сословия, народа, времени.

И оттого ему, Клаусу Манну, надо рассказать «историю интеллигента между двумя мировыми войнами, то есть человека, которому решающие годы жизни пришлось провести в социальном и духовном вакууме». А кроме того, историю немца, который хотел быть европейцем, больше того — гражданином мира. И еще историю индивидуалиста, страшящегося анархии точно так же, как унификации и уравниловки. И еще — историю писателя, чьи интересы поглощены эстетикой, но поприщем становится политика, потому что такая выпала ему эпоха.

Все эти истории вошли в рассказ об одной жизни, и в итоге получилась исповедь, где время прочитывается за каждым эпизодом. Нам эта исповедь интересна не только тем, как выразительно она воссоздала двадцатилетие между войнами, а еще узнаваемостью того, кто исповедуется. Это типичный «левый» интеллигент, причем скорее русского, чем западного толка: демократ, правдоискатель, но прежде всего бунтарь наподобие молодого Маяковского или Хлебникова, «всегда блуждающий, всегда беспокойный, тревожный, гонимый, антиконформист по самому своему существу, решительно не способный поладить с каким-либо порядком». Сколько их было на нашей памяти и как печально складывались их судьбы в обстоятельствах, оказавшихся примерно теми же, что выпали на долю Клауса Манна.

Германию он покинул после прихода нацистов к власти в январе 1933 года, но, подражая отношениям с воспитавшей его средой, эмигрантом был уже смолodu. Его носило по свету — бесцельно, лишь бы не возвращаться в родные пенаты. Томас Манн, вынужденный к эмиграции, назвал ее «сбоем в жизненном стиле и судьбе»; для Клауса она была естественным состоянием. В дневниках Томаса Манна за 1933 год читаем: «Я очень плохо переношу неопределенность будущего, импровизированный образ жизни, утрату прочных основ». Клаус признает одни «импровизации».

Отцу необходимы «духовная свобода и душевный покой», повелевающие «сторониться литературы обиды и отчаяния». Сын иллюзию такого покоя только и способен обрести, создавая один документ литературы — отчаяния за другим.

Тут больше чем конфликт поколений, скорее — несовместимость идей и принципов. Отец — человек старой культуры, не изверившийся в ее возможностях, как ни издевалась история над его старомодным либерализмом и пристрастием к традициям. Сыну вечно необходимо обновление. Поэтому его не может не увлечь «советский эксперимент». В Берлине он неприязненно косится на русских эмигрантов: уж наверняка припасли парочку бриллиантов, чтобы открыть чайную или бордель, и нечего верить рассказам про большевистский произвол — ведь там, на российских просторах, делается история. Через несколько лет Клауса пригласят на первый съезд советских писателей: от его европейского взгляда не укроется комедия казенного энтузиазма, подогреваемого валтасаровыми пирами на даче Горького и в «Метрополе», но, подобно Арагону, Малро и прочим «левым», этот Манн в отличие от отца сумеет себя уговорить, что все это лишь болезни роста великой культуры будущего.

Он и дальше будет себе доказывать, что сталинские притязания на Прибалтику разумны, что террор — только необходимость, что все надежды связаны исключительно с красной Россией. А сомнения не отступят — наоборот, окрепнут. И не только из-за политических метаморфоз, приведших к пакту Молотова — Риббентропа. Это метафизические сомнения: конечно, социальный прогресс — благо, и нужно помогать «смягчению человеческих страданий», но разве возможно не воспринимать «ситуацию человека во Вселенной и на этой земле как трагическую по сути, человеческую проблему как по существу неразрешимую, муку индивидуального существования как до конца неисцелимую»?

Это написано под впечатлением поездки в Москву на писательский съезд. Клаусу Манну хватило мужества обнажить тот главный пункт, о который споткнулось, оказавшись беспомощным его преодолеть, все «ле-

вое» умонастроение. Оно питалось и направлялось сиюминутным, злободневным. И зависело только от злобы дня, даже не пытаясь дать ответ на вечные вопросы, встающие перед каждым. Когда они неотступно возникали перед «левыми», логичным ответом становилось самоубийство. Какой бесконечный, какой грустный список: Маяковский, и Стефан Цвейг, и лидер экспрессионизма драматург Эрнст Толлер. И другой выдающийся экспрессионист Вальтер Газенклевер. И сам Клаус Манн.

Словно бы для всех них не метафорическим, а самым буквальным значением наполнялись строки Пастернака о том, что «все в смятении»: «Черной лестницы ступени, перекрестка поворот».

Для Клауса Манна слово «поворот» обладало магическим смыслом. Что бы ни происходило, какие бы разочарования ни обрушивались — все только «поворот», только начало нового этапа. Режим лишил семью Манн немецкого подданства — что ж, в этом есть свое романтическое очарование, ведь Клауса всегда привлекала богатая опасностями эмигрантская жизнь. Закрылся налаженный им антифашистский журнал — но жизнь продолжается, борьба не окончена. После войны он найдет мюнхенский дом Маннов обезображенным: тут спаривали тевтонских самцов с нордическими самками, чтобы получить чистую арийскую расу, — а вчерашние гестаповцы, спрятав в закрытый шкаф книжки со свастикой, все как один окажутся тайными ненавистниками режима и вспомнят о прабабушке-еврейке. Клаус и к этому отнесется спокойно. «Вопрос лишь, в каком направлении пойдет дальше. Это зависит от нас; на каждом повороте есть свой выбор... От одного поворота к другому».

Но он знал, во всяком случае предчувствовал, куда ведет такая дорога. «Еще пара шагов к пропасти, и мы сверзимся вниз головой. Тогда-то мы и выберем, раз и навсегда. Окончательный перелом достигнут, богатая событиями драма завершена».

На самом деле она не завершена по сей день, но ею предано слишком много уроков, чтобы подобный финал — «вниз головой» — с обязательностью повторился снова и снова.